

Аритмия

Полиуретановый катетер длиной около ста десяти сантиметров и сорок две десятых миллиметра в диаметре. К его концу прикреплен электрод в виде четырехмиллиметровой иглы. Каждый электрод имеет номер. На его электроде значилось: № 18085402350. Врачам в принципе не обязательно запоминать этот номер, но бухгалтеры в клиниках должны его знать, чтобы списать по статье «амортизация аппаратуры». Электрод утилизируется после трех процедур. В министерстве здравоохранения решили, что электрод можно воткнуть поочередно в три сердца и только после этого его можно «снять с баланса». В случае летального исхода снятие с баланса происходит на любой стадии эксплуатации сразу, автоматически и сопровождается «свидетельством о смерти пациента». Катетер обычно вводят в бедренную вену в правом паху.

У него была вздутая бедренная вена в правом паху. Я это отлично помню, потому что целовала это место много раз. Всегда, когда я касалась его там губами или

языком, он накрывал мою голову ладонями, дрожал и шептал мое имя. В разных местах прикасался пальцами к моей голове, иногда нежно, иногда сильно прижимая их. Но только пальцами левой руки. Правой в это время гладил меня по волосам. Я никогда не спрашивала его, какой из скрипичных концертов в тот момент звучит у него в голове. Да и что толку спрашивать: он стал бы отрицать, чтобы не обидеть меня. Но это наверняка была бы неправда, ведь я всегда проигрывала в сравнении с его музыкой. В постели тоже.

Он даже когда раздевал меня, делал это так, будто доставал скрипку из футляра. Благоговейно, торжественно. Как скрипач, который гладит свой инструмент. Ласкает пальцами изящное старинное дерево, смахивая какие-то невидимые и только ему одному известные пылинки. Потом смотрит на нее. И этот его взгляд, наверное, — самое прекрасное. Вот так же он смотрел и на меня, обнаженную, как на свою скрипку перед большим и самым важным концертом. И хотя я знала, что этим концертом он меня приведет в восторг, выпьет до дна и опьянит, я понимала, что, даже когда он изольется в меня, он будет слышать при этом не мой крик и не мой стон, а какой-то чертов контрапункт. Такой уж он человек — даже постель была для него концертным залом.

Я чувствовала его дыхание, слышала вибрацию смычка, ровно проходившего по струне. Как будто он прокрадывался в душу и нежно дул на волосы. С этого момента все становилось общим: дыхание, время, воздух, тело. И не в тягучих альтовых звуках слыша-

лись тоска и страсть, а в быстрых, резких, сильных. Сначала солист, *piano*^{*}, выводил тему. Наши взгляды встречались на середине зала, задавая друг другу темп, экспрессию, придавая колорит. Потом зазвучало *tutti*^{**} оркестра, и лес смычков в идеально ровном темпе менял направление, напряжение возрастало тем быстрее, чем громче и стихийней соединялись все звучания. Наконец только он, скрипач, и я, в совершеннейшем созвучии, оба едва переводившие дыхание испытывали нечто незабываемое, абсолютно необходимое для утоления иссушающей жажды друг друга. С той только разницей, что я в конце пути сливалась в единое целое только с ним, а он — с последним тактом финала...

Катетер, вставленный через интродьюсер^{***}, помещенный в точке прокола бедренной вены, постепенно идет в направлении сердца. Сначала в правый желудочек, потом в правое предсердие. Оттуда он должен в результате пункции межжелудочковой перегородки пробиться в левое предсердие. В левом предсердии его подводят к устью легочных вен и высокочастотным током разогревают конец до шестьдесят-семьдесят градусов Цельсия. Этого достаточно для того, чтобы вызвать микроповреждения в стенке ле-

* Тихо (*итал.*).

** Весь, все (*итал.*). Исполнение музыки полным составом оркестра или хора.

*** Пластиковая трубка со встроенным гемостатическим клапаном, предотвращающим обратный ток крови.

точной вены и, как они это называют, скоагулировать ее ткань, проще говоря, оставить шрамы, которые должны препятствовать распространению патологических импульсов, вызывающих аритимию, к сердцу.

Шрамы.

Шрам расползлся, когда я увидела его в первый раз. Два года тому назад.

В тот день я покинула общагу около четырех утра. Задержалась. Кто-то как раз приехал из Амстердама и привез «план». То ли я вина выпила слишком много и чересчур нанюхалась, то ли привезенная канабка была пропитана какой-то жесткой синтетической химией. Короче, похмелье было жуткое. Глухое, темное, безграничное пространство, перечеркнутое поперек широкой белой струей горячего молока, вливающегося мне в рот. Струя обжигала губы и нёбо, протекала через меня, задерживалась в пищевode, проникала в грудь, вздымала ее, разрывая лифчик, и возвращалась, чтобы выстрелить фонтаном между бедер. Смешавшись с кровью, струя стала розовой. Я начала задыхаться и кашлять, не успевая сглатывать это молоко, и выбежала из комнаты. Пах разрывало от пронизывающей боли. У меня начались месячные. Напрямую через лесок, что окружал общежитие, спотыкаясь о наледи, я добралась до цивилизации, до улицы, до трамвая. Первый утренний воскресный трамвай...

Он сидел с закрытыми глазами, припав головой к заиндедевшему грязному стеклу и оставляя на нем

неровный след теплого дыхания. Сидел в обнимку со скрипичным футляром. Как с ребенком на руках. Правую щеку пересекал широкий шрам. Трамвай тронулся. Я встала напротив него, не в силах оторвать взгляд от этого шрама. Наркотическая галлюцинация не проходила. Я, честное слово, видела своими глазами, как шрам медленно разрывается, раздвигается, и как разрыв медленно наполняется кровью. Я достала платок из кармана, встала перед ним на колени и приложила платок к шраму, чтобы сдержать поток крови. Он поднял веки. Дотронулся до моей руки, прижатой к его щеке. Какое-то время не отпускал ее, нежно поглаживая мои пальцы.

— Простите...

— Я задремал. Присаживайтесь.

Встал, уступая мне место. В пустом трамвае.

А когда трамвай пустой и на улице нет еще машин, он несется, как сумасшедший дом на колесах. При очередном торможении я упала на грязный пол и не смогла подняться с колен. Он заметил это. Осторожно положил скрипку под сиденье, обнял меня за талию и осторожно посадил на свое место. Потом снял кожаную черную куртку и прикрыл меня ею.

— Куда вам? — спросил он тихо.

— Домой, — ответила я, пытаюсь перекричать лязг тормозов останавливающегося трамвая. — У тебя шрам на щеке, — я улыбнулась, — но кровь больше не течет...

Мы вышли на следующей остановке. Он остановил такси. Проводил меня до самых дверей съемной квартиры.

На следующий день я поехала отдать ему куртку. Дверь открыла его мачеха. Он не заметил меня, когда я тихо появилась на пороге его комнаты. Стоял у окна спиной к двери, играл на скрипке. Неистово. Всем своим существом. А я слушала, не в силах оторвать взгляда от смычка в его руке. Я не в состоянии передать, что почувствовала в тот момент. Очарование? Душевную близость? Музыку? Я помню только одно: как изо всех сил прижимала куртку к себе и неотрывно смотрела на него.

Он кончил играть. Повернулся. Ничуть не удивился, что я в его комнате. Как будто знал, что я здесь стою. Подошел ко мне так близко, что я увидела капельки пота на его лице. Был как будто в трансе. Плакал.

— Только мать прикасалась к моему шраму так же, как вы тогда, в трамвае, — сказал он, глядя мне в глаза.

Через две недели мы перешли на «ты». А месяц спустя я не могла вспомнить свою жизнь «до него». Через полгода я уже сходила с ума, когда он выезжал со своим оркестром на гастроли и по несколько часов его мобильник был отключен.

28 июня, в субботу, он раздел меня в первый раз. Я глядела на свое отражение в его глазах, как принцесса в говорящее чудо-зеркальце. А он смотрел на меня, как на партитуру, пытаюсь прочесть...

В ту ночь я не испытала оргазма. Но и без него прекрасно знала, до каких восторгов он может довести меня. Я помнила эти свои восторги так, как помнят первый большой детский стыд...

В полночь 30 апреля он стоял, запыхавшийся, у двери моей съемной квартиры. Был мой день рождения. Он даже не спросил, хочу ли я с ним ехать. Такси ждало внизу. Он велел водителю остановиться около маленького костела на Мокотове. Скрипка была с ним. Мы вошли через боковой неф в совершенно темный костел. Я испугалась, когда он оставил меня одну на лавке напротив алтаря. Зажег свечи на мраморной плите. Поставил ноты на один из подсвечников. Достал скрипку и встал под крестом. Зазвучала музыка. Это было даже больше, чем прикосновение. Это было проникновение. Я ощущала это физически и с каждым тактом все более явственно. В темном зале холодного пустого костела мне стало так жарко, что внизу у меня все ответило влажным теплом.*

В течение процедуры абляции** легочной вены катетер с электродом находится в сердце несколько часов и его движение — и в кровеносных сосудах, и в сердце — видно на рентгеновском мониторе. Во избежание тромбно-эмболических осложнений уже за несколько дней перед процедурой пациенту дают средства, понижающие свертываемость крови. При направленной на легочную вену абляции редко ищут в сердце другие источники аритмии и коагулируют преимущественно лишь ткань легочной

* Мокотов — район Варшавы.

** Хирургическое лечение аритмии.

вены. Пациент находится в лежачем состоянии, но в сознании. Поскольку во время процедуры возможно возникновение предсердно-желудочковой блокады, в сердце вводится электрод для временной кардиостимуляции. В случае нарушения дыхания подключают аппарат искусственной вентиляции легких.

Часто, когда мы лежали, прижавшись друг к другу, я клала голову ему на грудь. Он нежно гладил мои волосы, а я слушала, как стучит его сердце. И никогда никакой аритмичности в биении его сердца я не слышала. Когда он засыпал, я часами смотрела на него — как он дышал, мягко и спокойно. Иногда на мгновение его дыхание учащалось, и губы слегка раскрывались. И тогда я хотела быть в его голове. Больше всего именно тогда...

Абляция — высокоэффективная лечебная процедура, но после нее могут снова произойти нарушения ритма. Если фармакологическое лечение не дает результата, процедура абляции может быть проведена повторно. Исключение составляет абляция устья легочной вены.

У него было больное сердце. Он скрывал это ото всех. И от меня тоже. Стыдился этого так же, как взрослеющие мальчики стыдятся мутации голоса или прыщей на лице. О том, что он болен, я узнала случайно. Он выехал на несколько дней с оркестром в Ганновер.

Незадолго до сочельника. Нашего первого общего сочельника. Отец с мачехой и его сводной сестрой поехали на праздники в Швейцарию.

Мы собирались встретить Рождество вдвоем в его квартире и на следующий день поехать к моим родителям в Торунь. Я купила елку и стала прибираться в его комнате. Собрала лежавшие на полу написанные его рукой партитуры и хотела убрать в ящик его стола. Не вышло: ящик доверху был забит розовыми распечатками электрокардиограмм. Общим числом триста шестьдесят! Полученными из больниц большинства польских городов. Но также из Германии, Италии, Чехии, Франции, Испании и США. Кроме того, там были выписки из нескольких больниц, счета за лечение на нескольких языках, два стетоскопа, неиспользованные рецепты, направления в клиники, диагнозы психотерапевтов и психиатров, копии заявлений о его согласии на процедуры восстановления сердечного ритма электрошоком, иглы для акупунктуры, надорванные упаковки с таблетками, распечатки интернет-страниц с информацией об аритмии и тахикардии.

С двенадцати лет у него были диагностированы приступы мерцательной аритмии. Только за то время, что я его знала, он прошел через восемь проведенных под общим наркозом процедур восстановления сердечного ритма электрошоком. Последний раз ему это делали в Гейдельберге, за две недели до того, как я обнаружила этот забитый распечатками с ЭКГ ящик. Его оркестр участвовал там в каком-то фестивале. Двенадцать часов он не звонил, я тоже не могла дозвониться до него.

Потом сказал, что оставил мобильник в отеле. На самом деле все было совсем иначе. В палатах интенсивной терапии пациентам не разрешается пользоваться мобильниками, потому что они мешают работе аппаратуры. Из даты и часа электрокардиограммы следовало, что приступ аритмии имел место во время концерта.

В первый момент я было рванулась звонить ему, чтобы прокричать свой панический страх. Я чувствовала себя жестоко обманутой и преданной. И кем? Человеком, который знал обо мне больше, чем мой отец, знавший меня с пеленок, а тем временем какие-то там засранцы-врачи по всей Европе имели о нем информации больше, чем я! Хорош, ничего не скажешь! Мне знаком вкус его спермы и при этом я абсолютно без понятия о том, что пропускают ему через сердце примерно раз в шесть недель!

Ну, допустим, я бы ему позвонила, только он все равно ничего бы не сказал. Я бы кричала в трубку, а он все равно не произнес бы ни слова. И только когда я начала бы плакать, он сказал бы: «Дорогая... Все не так. Просто я не хотел огорчать тебя. Это пройдет... Вот увидишь».

Я не хотела, чтобы ему казалось, будто он успокоил меня своим «это пройдет». Потому и не стала звонить. Я решила, что расспрошу его только тогда, когда смогу выложить перед ним эту кипу в триста шестьдесят электрокардиограмм. И пообещала себе, что не стану при этом плакать.

После ужина он расставил по всей комнате зажженные свечи, надел свой концертный фрак и играл для

Любовница

меня на скрипке колядки. Только в детских воспоминаниях о Рождестве я помнила себя такой беззаботной и счастливой, как с ним в тот вечер.

Ночью он встал с постели и пошел на кухню. Со стаканом воды подошел к письменному столу и выдвинул ящик. Я не спала и зажгла свет ровно в тот момент, когда он выпил таблетку.

— Расскажешь мне о своем сердце? — спросила я, дотрагиваясь до его шрама.

Через пять месяцев этот сукин сын кардиолог с набриолиненными волосами и званием профессора, делавший абляцию, убил его во время пунктирования межпредсердной перегородки по пути катетера из правого предсердия в левое, проткнув ему сердце и вызвав кровотечение в околосердечную полость — перикард. Убил его и поехал как ни в чем не бывало в отпуск. В Грецию. Через два дня после случившегося. Одной иглой проткнул две жизни и спокойно полетел загорать.